

11 февраля

Вторник на Масленной неделе

Мы прибыли сюда с карнавалом. Нас пригнал ветер, не по-февральски теплый ветер, что полнится горячими сальными ароматами шкворчащих лепешек, сосисок и посыпанных сладкой пудрой вафель — их пекут на раскаленной плите прямо у обочины. В воздухе дурацким противоядием от зимы вихрится конфетти, скользит по рукавам, манжетам и в конце концов оседает в канавах. Люди лихорадочно толпятся вдоль узкой главной улицы, тянут шеи, хотят разглядеть обитую крепом повозку — за ней тянется шлейф из лент и бумажных розочек. Анук — в одной руке желтый воздушный шар, в другой игрушечная труба — смотрит во все глаза, стоя между базарной корзиной и грустным бурым псом. Карнавальные шествия нам, мне и ей, не в диковинку; двести пятьдесят разукрашенных повозок перед прошлым постом в Париже, сто восемьдесят в Нью-Йорке, два десятка марширующих оркестров в Вене, клоуны на ходулях, карнавальные куклы качают большими головами из

папье-маше, девушки в мундирах вращают сверкающие жезлы. Но когда тебе шесть, мир полон особого очарования. Деревянная повозка, наспех украшенная позолотой и крепом, сцены из сказок. Голова дракона на щите, Рапунцель в шерстяном парике, русалка с целлофановым хвостом, пряничный домик — картонная коробка в глазури с позолотой, в дверях колдунья тычет пальцами с нелепыми зелеными ногтями в группу притихших детей... В шесть лет ты способен постигать тонкости, которые годом позже уже будут вне твоего разумения. За папье-маше, мишурой, пластиком она еще видит настоящую колдунью, настоящее волшебство. Она смотрит на меня. Глаза сияют, сине-зеленые, как Земля, открывшаяся взору с большой высоты.

— Мы здесь останемся? Останемся?

Приходится напоминать, что говорить надо по-французски.

— Но мы останемся? Останемся?

Она цепляется за мой рукав. На ветру ее волосы — будто ком сахарной ваты.

Я раздумываю. Городок не хуже других. Ланскене-су-Танн. Сотни две душ, не больше. Крошечная точка на скоростном шоссе между Тулузой и Бордо. Моргнули — и уже проскочили. Одна главная улица — два ряда деревянно-кирпичных домиков мышиного цвета, застенчиво льнущих один к другому; боковые ответвления тянутся параллельно, словно зубцы кривой вилки. Вызывающе белая церковь на площади; по периметру площади — магазинчики. Фермы, разбросанные по недремлющим полям. Сады, вино-

градники, огороженные полосы земли, расчлененной согласно строгой иерархии местного сельского хозяйства: здесь яблоны, там киви, дыны, эндивий под панцирем из черного пластика, виноградные лозы — сухие зачахшие плети в лучах скудного февральского солнца — ожидают марта, чтобы победоносно воскреснуть из мертвых... Дальше — Танн, маленький приток Гаронны, нащупывает себе дорогу по болотистому пастбищу. А что же местные жители? Мало чем отличаются от тех, кого мы встречали прежде; может, чуть бледнее при свете нежданного солнца, чуть тусклее. Платки и береты тех же оттенков, что и упрятанные под них волосы, — коричневые, черные, серые. Лица скукоженные, как прошлогодние яблоки; глаза утопают в морщинистой коже, будто стеклянные шарики в затвердевшем тесте. Несколько ребятишек в красных, лаймовых, желтых развевающихся одеждах чуждятся пришельцами с другой планеты. Крупная женщина с квадратным несчастным лицом, кутая плечи в клетчатый плащ, что-то кричит на полупонятном местном диалекте в сторону повозки, медленно катящей по улице вслед за старым трактором, который ее и тащит. Из фургона коренастый Санта-Клаус, явно лишний в компании эльфов, сирен и гоблинов, швыряет в толпу сладости, еле сдерживая злость. Пожилой мужчина с мелкими чертами лица — вместо круглого берета, традиционного головного убора местных, на нем фетровая шляпа, — глянув на меня с виноватой учтивостью, берет на руки грустную бурую псину, притулившуюся у моих ног. Я вижу, как его тонкие красивые пальцы зарываются в собачью

шерсть; пес скулит; на лице его хозяина отражается сложная смесь чувств — любовь, тревога, угрызения совести. На нас никто не смотрит, будто мы невидимки. Одежда выдает в нас чужаков, проезжих. Воспитанные люди, на редкость воспитанные; ни один не взглянет на нас. На женщину с длинными волосами, заткнутыми за воротник оранжевого плаща, и длинным трепыхающимся шелковым шарфом на шее. На ребенка в желтых резиновых сапогах и небесно-голубом макинтоше. У них другой колорит. Броский наряд, лица — чересчур бледные или слишком смуглые? — волосы, все в них *не такое*, чужое, смутно непривычное. Обитатели Ланскне в совершенстве владеют искусством наблюдения украдкой. Их взгляды словно дышат мне в затылок — вовсе не враждебные, как ни странно, и тем не менее холодные. Мы для них — диковинка, карнавальная экзотика, заморские гости. Я чувствую их взгляды, когда поворачиваюсь к уличному торговцу, чтобы купить лепешку. Бумага жирная и горячая, пшеничная лепешка хрустит по краям, но в середине толстая и пышная. Я отламываю кусок и даю Анук, вытираю растаявшее масло с ее подбородка. Уличный торговец — полноватый лысеющий мужчина в очках с толстыми стеклами; от жара плиты на лице испарина. Он подмигивает Анук. Другим глазом подмечает каждую мелочь, зная, что позже его будут расспрашивать.

— В отпуск приехали, мадам?

Согласно местному этикету, ему дозволено заговаривать с незнакомцами. Я вижу, что за внешним безразличием торговца кроется жадное любопытство.

В Ланскне, соседствующем с Аженом и Монтобаном, туристы — большая редкость, и посему любая новая информация здесь — как живые деньги.

— На время.

— Из Парижа, значит?

Это, должно быть, из-за одежды. В этом пестром краю люди блеклые. Сочные цвета, по их мнению, ненужная роскошь; не к лицу. Яркая растительность по обочинам — это все бесполезные навязчивые сорняки.

— Нет-нет, не из Парижа.

Повозка уже почти в конце улицы. Небольшой оркестр — две флейты, две трубы, тромбон и военный барабан — идет за ней, тихо наигрывая неузнаваемый марш. Следом бегут с десяток ребятишек, подбирают с земли невестребованные сласти. Кое-кто в карнавальных костюмах: я вижу Красную Шапочку и еще какого-то косматого персонажа; возможно, это волк. Они беззлобно препираются из-за охапки лент.

Колонну замыкает фигура в черном. Поначалу я принимаю его за участника карнавала — быть может, Врачевателя Чумы, — но вот он приближается, и я узнаю старомодную сутану сельского священника. Ему за тридцать, хотя издалека он кажется старше — до того чопорен. Он поворачивается ко мне; я вижу, что он тоже не местный уроженец. Широкоскулое лицо, светлые глаза северянина, длинные, как у пианиста, пальцы покоятся на серебряном кресте, висящем на шее. Возможно, именно это, его чужеродность, и дает ему право смотреть на меня. Но я не замечаю дружелюбия в его холодных светлых глазах.

Он сверлит меня оценивающим злобным взглядом, как человек, опасющийся за свою территорию. Я улыбаюсь ему, он испуганно отворачивается. Жестом подзывает двух ребятешек, показывает им на мусор, которым теперь усыпана вся дорога. Дети нехотя подбирают и бросают ленты и фантики в ближайший мусорный бак. Отворачиваясь, краем глаза опять ловлю его взгляд, который, возможно, сочла бы восхищенным, будь на месте священника любой другой мужчина.

Полицейского участка в Ланскне-су-Танн нет, а значит, нет и преступности. Я пытаюсь брать пример с Анук, пытаюсь разглядеть истину под внешним обличем, но пока все расплывается.

— Мы останемся? Останемся, маман? — Она настойчиво дергает меня за руку. — Мне здесь нравится, очень нравится. Мы ведь останемся?

Я подхватываю ее на руки и целую в макушку. От Анук пахнет дымом, жареными лепешками и теплом постели в зимнее утро.

Почему бы нет? Городок не хуже других.

— Да, конечно, — отвечаю я ей, зарываясь губами в ее волосы. — Конечно останемся.

И я почти не лгу. Возможно, на этот раз так и будет.

Карнавал окончен. Раз в год Ланскне ненадолго вспыхивает яркими красками и так же стремительно остывает. На наших глазах толпа рассеивается, торговцы убирают горячие плиты и навесы, дети снимают карнавальные костюмы и украшения. Все не-

много смущены и растеряны от избытка шума и цвета, что испаряются, как июльский дождь, — затекают в земные трещины, бесследно растворяются в иссушенных камнях. Спустя два часа Ланскне-су-Танн вновь невидим, словно заколдованный городок, что является взору лишь раз в год. Если бы не карнавальное шествие, мы бы его, наверное, и вовсе не заметили.

Газ у нас есть, но электричество пока отсутствует. В первый вечер при свече я напекла для Анук блинчиков, и мы поужинали у очага — старый журнал вместо тарелок, — поскольку наш багаж доставят только завтра. Лавка, что мы арендовали, прежде была пекарней. До сих пор над узким дверным проемом — резной пшеничный сноп, на полу — толстый слой мучной пыли; мы пробирались через груды старых писем, газет и журналов. Нам, привыкшим к дороговизне больших городов, арендная плата показалась баснословно низкой, и все равно, отсчитывая деньги в агентстве, я поймала подозрительный взгляд его сотрудницы. В договоре об аренде я зовусь Вианн Роше; моя подпись, иероглиф-закорючка, может означать что угодно. При свече мы обследовали наши новые владения. Старые печи, жирные и закопченные, как ни странно, еще вполне приличные, сосновые панели на стенах, почерневшая глиняная плитка на полу. В дальней комнате Анук обнаружила свернутый навес. Когда мы потащили его на свет, из-под выцветшей парусины врассыпную кинулись пауки. Жить мы будем над магазином: спальня-гостиная, ванная, смехотворно крошечный балкон, терракото-

вый горшок с засохшей геранью... Анук скривилась, когда увидела все это.

— Здесь так темно, тамап.— Голос у нее испуганный, дрожит при виде такого запустения.— И грустно пахнет.

Она права. Запах такой, будто здесь годами томился дневной свет, пока не сквасился и не протух. Стоит дух мышиных фекалий и призраков забытого прошлого, о котором никто не жалеет. Гулко, словно в пещере. От убогого тепла наших тел только четче проступают тени. Краска, солнце и мыльная вода сотрут въевшуюся грязь. Другое дело — скорбь, горестное эхо заброшенного дома, где годами не звучал смех. В отблесках пламени свечи лицо Анук кажется бледным, глазенки вытарашены. Она стискивает мою руку.

— И мы будем здесь спать? — спрашивает она.— Пантуфлю тут не нравится. Он боится.

Я улыбаюсь и целую ее в золотистую щечку.

— Пантуфель нам поможет.

В каждой комнате мы зажгли свечи — золотые, красные, белые и оранжевые. Я предпочитаю благовония собственного приготовления, но сейчас их нет, а для наших целей вполне годятся и купленные свечи — с ароматами лаванды, кедра и лимонного сорго. Мы держим по свечке, Анук гудит в игрушечную трубу, я стучу металлической ложкой о старую кастрюлю, и десять минут мы топчем по комнатам, вопя и распевая во все горло: «Прочь! Прочь! Прочь!», пока наконец стены не сотрясаются и разъяренные призраки не убегают, оставляя за собой едва улови-

мый запах гари и хлопья осыпавшейся штукатурки. Если всмотреться в трещинки потемневшей краски, в грустные силуэты брошенных вещей, разглядишь неясные очертания — будто остаточные изображения бенгальского огня в руке: тут стена сверкает золотом, там кресло, немного потертое, но торжествующе сияет оранжевым, и старый навес вдруг заиграл яркими оттенками, что высветились из-под слоя пыли и грязи. Анук с Пантуфлем топают и поют: «Прочь! Прочь! Прочь!» — и расплывчатые силуэты все четче: красный табурет возле стойки, покрытой винилом, гроздь колокольчиков у двери. Я, разумеется, понимаю, что это всего лишь игра. Придуманное волшебство, чтобы успокоить испуганного ребенка. Нам предстоит поработать, хорошенько потрудиться, дабы вещи взаправду засияли. Но пока достаточно знать, что дом рад нам, как мы рады ему. У порога хлеб с солью, чтобы умилостивить обитающих здесь богов. На подушках ветки сандалового дерева, чтобы нам снились приятные сны.

Позже Анук сказала, что Пантуфлю уже не страшно, значит, тревожиться не о чем. Не задувая свечей, мы в одежде улеглись на пыльный матрас в спальне, а когда проснулись, уже наступило утро.

12 февраля

Пепельная среда

Разбудил нас звон колоколов. Я и не догадывалась, что наша лавка стоит так близко к церкви, пока не услышала, как низкое резонирующее «бом-м» растворяется в мелодичном перезвоне — «боммм флади-дади-бомммм». Я глянула на часы. Шесть утра. Через щели разбитых ставней на постель струится серо-золотистый свет. Я поднялась и выглянула на площадь. Мокрый булыжник блестит. Квадратная белая церковная башня резко вздымается в утренних лучах из ямы темных витрин — булочной, цветочного магазина, похоронной лавки, торгующей мемориальными табличками, каменными ангелами, неувядающими эмалевыми розами... Среди настороженных глухих фасадов белая башня — словно маяк. На ее часах — шесть двадцать, римские цифры мерцают красным, вводя в заблуждение дьявола. Из неприступной ниши на головокружительной высоте взирает на площадь Дева Мария — тоскливо, будто мучимая тошнотой. На кончике короткого шпиля

крутится флюгер — фигурка в длинном одеянии и с косою показывает то строго на запад, то на запад-северо-запад. С балкончика, где стоит горшок с дохлой геранью, я замечаю первых горожан, спешащих на мессу. Вон вчерашняя женщина в клетчатом плаще. Я махнула ей, но она, не отвечая, лишь плотнее закуталась в свой плащ и торопливо прошла мимо. Следом идет мужчина в фетровой шляпе, за ним по пятам семенит его грустный бурый пес. Мужчина робко улыбается мне, я громко и радостно здороваюсь, но, очевидно, местный этикет не допускает подобных вольностей, ибо мужчина тоже не отвечает, спеша скрыться в церкви вместе со своим питомцем.

После уж никто не смотрел на мое окно, хотя я насчитала шестьдесят голов — в шарфах, беретах, шляпах, надвинутых низко, прячущих лица от незримого ветра. Но я ощущала их напускное, пронизанное любопытством равнодушие. У нас есть дела поважнее, говорили их ссутуленные спины и втянутые в плечи головы. Однако они плелись по мостовой, как дети, которых заставляют ходить в школу. Вот этот сегодня бросил курить, определила я, тот отказался от еженедельных визитов в кафе, та — от любимых блюд. Не моя забота, само собой. Но в этот момент я сознаю: если и есть на земле уголок, нуждающийся в капельке магии... Старые привычки не умирают. И если вы некогда исполняли чужие желания, этот порыв никогда не оставит вас. К тому же ветер, спутник карнавала, все еще дует, пригоняя едва уловимые запахи жира, сахарной ваты и пороха, острые

пряные ароматы приближающейся весны, от которых зудят ладони и чаще бьется сердце... Значит, мы остаемся. На время. Пока не сменится ветер.

В городской лавке мы купили краску, кисти, малярные валики, мыло и ведра. Уборку начали со второго этажа, сверху вниз, — срывали шторы, негодные вещи сбрасывали в крошечный внутренний садик, где быстро росла грудa мусора; мылили пол, то и дело окатывая водой узкую закопченную лестницу, так что обе вымокли насквозь по нескольку раз. Щетка Анук превратилась в подводную лодку, моя — в танкер; он с шумом пускал вниз по лестнице стремительные мыльные торпеды, и они разрывались в холле. В самый разгар уборки звякнул дверной колокольчик. С щеткой и мылом в руках я подняла голову и увидела рослую фигуру священника.

А я-то все спрашивала себя, когда же он решит нанести нам визит.

С минуту он рассматривает нас. Улыбается. Настороженной улыбкой, благожелательной, хозяйской. Так владелец поместья приветствует незваных гостей. Я чувствую, что его очень смущает мой внешний вид — мокрый грязный комбинезон, волосы, подвязанные красным шарфом, голые ступни в хлюпающих сандалиях.

— Доброе утро. — К его начищенной черной туфле течет пенистый ручеек. Священник косится на мыльный поток и вновь обращает взгляд на меня. — Франсис Рейно, — представляется он, предусмотрит-

тельно делая шаг в сторону. — Кюре местного прихода.

Я смеюсь. Не могу сдержаться.

— А, вон оно что, — ехидничаю я. — Я думала, вы персонаж карнавального шествия.

Он смеется из вежливости. Хе, хе, хе.

Я протягиваю руку в желтой резиновой перчатке.

— Вианн Роше. А та бомбардирша сзади — моя дочь Анук.

Взрывы мыльных пузырей. Анук сражается с Пантуфлем на лестнице. Я чувствую, что священник ждет от меня подробностей о мсье Роше. Гораздо проще, когда все изложено черным по белому, чин чинном, официально. Тогда не приходится задавать неловких, неприятных вопросов...

— Полагаю, вы были очень заняты утром.

Внезапно мне становится жаль его: он так старательно ищет ко мне подход. Опять принужденно улыбается.

— Да, нам и впрямь надо поскорее навести тут порядок. Работы уйма — враз не переделаешь. Но нас в любом случае не было бы сегодня в церкви, monsieur le curé. Мы не ходим в церковь.

Это я из добрых побуждений — сразу дать понять, на чем мы стоим, успокоить его. Но он меняется в лице, вздрагивает, будто я его оскорбила.

— Понятно.

Я веду себя слишком откровенно. Он бы предпочел, чтоб мы потоптались вокруг да около, вкрадчиво походили кругами, как настороженные кошки.

— Но я очень признательна вам за радушный прием, — бодро продолжаю я. — Надеюсь, с вашей помощью мы даже обзаведемся здесь друзьями.

Он и сам смахивает на кошку: холодные светлые глаза неизменно ускользают, наблюдают неустанно, изучают, взгляд отстраненный.

— Сделаю все, что в моих силах. — Теперь, когда выяснилось, что мы не пополним ряды его паствы, священник равнодушен. Однако, повинаясь голосу совести, вынужден предложить нам больше, чем желал бы дать: — У вас есть какие-то конкретные просьбы?

— Вообще-то мы бы не отказались от помощников, — говорю я и, видя, что он начинает отвечать, быстро добавляю: — Речь, разумеется, не о вас. Но может, вы знаете кого-нибудь, кто хотел бы подзаработать? Например, штукатура, кого-нибудь, кто помог бы с ремонтом?

Это ведь тема побезопаснее.

— Нет, я таких не знаю. — Он настороже — впервые встречаю столь настороженного человека. — Но поспрашиваю.

Может, и поспрашивает. Как и полагается, исполнит свой долг перед новоприбывшими. Но наверняка никого не найдет. Такие люди не оказывают услуг из милости. Священник подозрительно косится на хлеб с солью у порога.

— Это на счастье, — улыбаюсь я.

Его лицо каменеет. Он стороной обходит наш скромный дар домашним богам, словно это скверна.

— Маман? — В дверях появляется всклокоченная головка Анук. — Пантуфль хочет поиграть на улице. Можно?

Я киваю.

— Только из сада никуда. — Вытираю грязь с ее переносицы. — Ну и видок у тебя. Суший сорванец. — Ее взгляд обращается на священника, я вовремя замечаю в ее глазах смешинки. — Анук, это мсье Рейно. Поздоровайся.

— Здравствуйте! — кричит Анук, бегом направляясь к выходу. — До свидания!

Неясным пятном мелькают желтый свитер с красным комбинезоном, и она скрывается за дверью, скользя по сальной кафельной плитке. Уже не в первый раз мне чудится, что следом за ней исчез и Пантуфль — темная клякса на фоне дверной рамы еще темнее.

— Ей всего шесть, — объясняю я.

Рейно выдавливает кислую улыбку — очевидно, мимолетная встреча с моей дочерью только укрепила все его подозрения относительно меня.

13 февраля, четверг

Слава богу, на сегодня я свободен. Как же утомляют меня эти визиты. Речь, конечно, не о тебе, mon père. Мой еженедельный визит к тебе — это счастье, можно сказать, моя единственная отрада. Надеюсь, цветы тебе нравятся. Не очень красивые, но пахнут изумительно. Я поставлю их здесь, возле твоего кресла, чтобы ты мог ими любоваться. Отсюда чудесный вид на поля, на Танн, вдалеке блестит лента Гаронны. И кажется, будто мы совсем одни. О, я не жалуясь. Вовсе нет. Просто одному человеку тяжело нести такое бремя. Все их мелкие заботы, обиды, глупость, тысячи банальных проблем...

Во вторник у нас был карнавал. Они танцевали и кричали, как самые настоящие дикари. Клод, младший сын Луи Перрена, выстрелил в меня из водяного пистолета. И как, думаешь, отреагировал его отец? Сказал, что сын маленький и ему хочется немного поиграть. Я же, mon père, всеми помыслами стремлюсь наставить их на путь истинный, избавить от греха. Но они сопротивляются на каждом шагу, слов-

но дети малые, из прихоти отвергают здоровую пищу, продолжая есть то, от чего их тошнит.

Я знаю, ты понимаешь меня. Ты сам пятьдесят лет безропотно и с достоинством нес эту ношу. И завоевал их любовь. Неужели времена так сильно изменились? Здесь меня боятся, уважают... но вот любят ли? Нет. Лица угрюмые, недовольные. Вчера уходили со службы, посыпав голову пеплом, а в лицах читалось виноватое облегчение. Возвращались к своим тайным пристрастиям и порокам уединения. Они что, не понимают? Господь все видит. Я все вижу. Поль-Мари Мускат бьет жену. Благодично исповедуется каждую неделю, читает в наказание десять молитв Святой Деве — и вновь за свое. Его жена — воровка. На прошлой неделе пошла на рынок и украла с прилавка дешевую побрякушку. Гийом Дюплесси постоянно спрашивает, есть ли у животных душа, и плачет, когда я говорю, что нет. Шарлотта Эдуард подозревает, что у ее мужа есть любовница. Я знаю, что у него их целых три, но вынужден хранить тайну исповеди.

Какие же они все дети! Своими вопросами они бесят меня и сводят с ума. Но я не вправе выказывать слабость. Овцы — отнюдь не покорные безобидные существа, как в идиллических пасторальных. Это вам любой селянин подтвердит. Овцы хитры, порой жестоки и патологически глупы. И у снисходительного пастыря нередко дерзки и непокорны. Поэтому я неизменно с ними строг. И только раз в неделю позволяю себе немного расслабиться. Твои губы плотно сомкнуты, *mon rève*, как на исповеди. Но сердце у

тебя доброе, и ты всегда готов меня выслушать. На один час я могу скинуть свое бремя. И обнажить свое несовершенство.

У нас появилась новая прихожанка. Некая Вианн Роше — полагаю, вдова — с маленькой дочкой. Помнишь пекарню старика Блэро? Он умер четыре года назад, и с тех пор его дом стоял в запустении. Так вот, она арендовала эту пекарню и надеется открыть ее к концу недели. Думаю, ее заведение просуществует недолго. У нас уже есть пекарня Пуату, на другой стороне площади. И к тому же она здесь не приживется. Приятная женщина, но с нами у нее нет ничего общего. Не пройдет и двух месяцев, как опять сбежит в большой город. Там ей самое место. Забавно, но я ведь так и не выяснил, откуда она родом. Очевидно, парижанка, а может, из-за границы приехала. Говорит без акцента — пожалуй, даже слишком чисто для француженки. Гласные отрывистые, как у северян, но в глазах есть что-то от итальянцев или португальцев, а кожа...

Впрочем, я ее почти не видел. Вчера целый день и сегодня она наводила порядок в пекарне. Витрина прикрыта куском оранжевого пластика. Время от времени она сама или ее маленькая дочка-дикарка выбегают на улицу, опорожняют в канаву ведро помоев или дружелюбно перебрасываются парой слов с кем-нибудь из рабочих. Меня поражает ее умение договариваться с людьми. Я предложил ей свои услуги в качестве посредника, но сомневался, что найду желающих помочь. И вдруг рано утром вижу, как Клермон несет ей доски, а следом Порсо со своими

лестницами. Пуату снабдил ее кое-какой мебелью. Я видел, как он тащил через площадь кресло и все время озирался, будто боялся, что его заметят. Даже сварливый брюзга Нарсисс пошел со своим инвентарем облагораживать ее садик, хотя в ноябре, когда я попросил его вскопать газон на кладбище, он сухо отказался.

Сегодня утром примерно в восемь сорок к ее лавке подъехал грузовой фургон. Мимо проходил Дюплесси, он обычно в это время выгуливает собаку. Она окликнула его, попросила помочь с выгрузкой. Дюплесси оторопел, так и не донеся руку до шляпы, — я был почти уверен, что он откажет. Потом она что-то сказала — я не расслышал — и звонко рассмеялась. Вообще она много смеется и неумеренно, комично жестикулирует. Тоже, видимо, черта, присущая жителям больших городов. Мы здесь привыкли общаться сдержаннее, но, надо думать, она не имеет в виду ничего дурного. Голову она по-цыгански обмотала фиолетовым шарфом, однако волосы выбились, на них белая краска. Ее это, по-видимому, не смущало. Позже Дюплесси не смог припомнить ее слова — проямлил только, что его это ничуть не затруднило, всего несколько коробок, довольно тяжелых, хотя и маленьких, и открытых ящичков с кухонной утварью. Что в коробках, он не спросил, но в пекарном производстве, считает он, с такими скудными запасами далеко не продвинешься.

Не подумай, *mon père*, будто я все дни напролет только и делаю, что наблюдаю за пекарней. Просто она почти напротив моего дома — того самого, *mon*

рёге, что прежде принадлежал тебе. Весь минувший день и половину сегодняшнего в пекарне стучали молотками, красили, белили и скоблили — даже меня разобрало невольное любопытство. Мне не терпится посмотреть на результат. И я не одинок в своем желании. Я слышал, как мадам Клермон самодовольно судачила с приятельницами о мужниной работе возле лавки Пуату. Они говорили о «красных ставнях», а потом заметили меня и тут же притихли, зашептались. Будто мне есть дело до их пересудов. А новоприбывшая, безусловно, дает богатую пищу для сплетен, если не сказать больше. Оранжевая витрина так и притягивает взоры. Словно огромная конфета, с которой хочется содрать фантик, случайно залежавшийся соблазнительный ломоть карнавала. Есть что-то тревожное в этом ярком куске пластика, в том, как он сверкает на солнце. Я буду счастлив, когда ремонт завершится и бывшая пекарня вновь станет пекарней.

На меня многозначительно поглядывает медсестра. Она считает, я тебя утомляю. И как только ты их выносишь? Их громкие голоса, воспитательские замашки? «А теперь нам пора отдыхать». Ее игривость раздражает, режет слух. Она желает добра, говорят твои глаза. «Не сердись на них, они знают, что делают». А вот я не добрый. Я пришел сюда не тебя утешать — самому утешиться. И все же мне хочется верить, что мои визиты радуют тебя, вносят свежую струю в твою жизнь, что превратилась в вялое, бесцветное прозябание. По вечерам телевизор, час в день, смена положения пять раз в день, кормление через

трубочку. О тебе говорят как о неодушевленном предмете: «Думаешь, он нас слышит? Понимает что-нибудь?» Твое мнение никому не интересно, тебя даже не спрашивают... Ты живешь в полной изоляции, но по-прежнему чувствуешь, думаешь... Вот он, истинный ад, голый ужас, без наносной цветистости средневековых представлений. Полнейшая изоляция. И все же я обращаюсь к тебе: научи, как выйти к людям. Научи надежде.

14 февраля, пятница
День святого Валентина

Мужчину с собакой зовут Гийом. Вчера он помог мне занести в дом багаж, а сегодня утром стал моим первым посетителем. Пришел вместе со своим псом Чарли. Поприветствовал с застенчивой учтивостью, почти по-рыцарски.

— Мило у вас здесь, — сказал он, оглядевшись. — Наверное, всю ночь трудились.

Я рассмеялась.

— Просто чудесное превращение, — добавил Гийом. — Не знаю почему, но я думал, вы собираетесь открыть у нас еще одну пекарню.

— Чтобы пустить по миру беднягу мсье Пуату? С его-то большой поясницей и несчастной женой-инвалидом, которая и по ночам не спит? Уж он был бы мне благодарен по гроб жизни.

Гийом нагнулся, поправляя на Чарли ошейник, но я заметила веселый блеск в его глазах.

— Значит, вы уже познакомились?

— Да. Я дала ему рецепт ячменного отвара от бессонницы.

— Если поможет, он на всю жизнь станет вам добрым другом.

— Поможет,— заверила я. Потом сунула руку под прилавок и вытащила розовую коробочку с серебряным бантиком.— Держите. Это вам. Моему первому посетителю.

Гийом, кажется, чуточку перепугался.

— Ну что вы, мадам, я...

— Зовите меня Вианн. И я не приму отказа.— Я сунула коробочку ему в руки.— Вам понравится. Это ваши любимые.

— Откуда вы знаете? — спросил он с улыбкой, осторожно убирая подарок в карман плаща.

— Да вижу,— лукаво сказала я.— Я про всех знаю, кто что любит. Это вам и нужно, поверьте мне.

Вывеска была готова только к полудню. Жорж Клермон, без конца извиняясь за опоздание, собственноручно ее прибывал. Красные ставни изумительно смотрелись на фоне свежей побелки, и Нарсисс, беззлобно сетуя на поздние заморозки, рассадил в моих горшках герань из своей теплицы. Я вручила обоим по нарядной коробочке к Дню святого Валентина и отослала — озадаченных, но счастливых. После толком никто не заходил, не считая нескольких ребятишек. Так оно обычно и бывает с новыми лавками в маленьких городках: действует строгий этикет, и местные сдержанны, якобы равнодушны, хотя в душе сгорают от любопытства. Заглянула пожилая женщина в черном платье — традиционном одеянии местных вдов. Мужчина с красно-коричневым лицом купил три одинаковые коробочки, даже не по-

интересовавшись, что в них лежит. Потом несколько часов никого. Как я и ожидала. Нужно время, чтобы привыкнуть к новому. Кое-кто бросал пристальные взгляды на витрину, однако переступить порог не осмелился никто. За напускным равнодушием я улавливала смятение, шепотки, колыхание штор, подготовку к решительному шагу. Наконец они пришли. Сразу целой компанией. Семь-восемь женщин, среди них Каролина Клермон — жена Жоржа Клермона, смастерившего мне вывеску. Девятая, шедшая в хвосте группы, осталась на улице. Я узнала в ней женщину в клетчатом плаще. Она стояла у витрины, почти касаясь лицом стекла.

Посетительницы жадно рассматривают все, хихикают, мнутя, восторгаются своей проделкой, будто шкодливые школьницы.

— И вы все это сама делаете? — спрашивает Сесиль, хозяйка аптеки на главной улице.

— Надо бы воздержаться, — говорит Каролина, пухлая блондинка в пальто с меховым воротником. — Как-никак Великий пост.

— Я никому не скажу, — обещаю я. Потом, глянув на женщину в клетчатом плаще, которая так и стоит у витрины: — А ваша приятельница почему не заходит?

— Она вовсе не с нами, — отвечает Жолин Дру, женщина с заостренными чертами лица; она преподает в местной школе. — Это Жозефина Мускат, — добавляет она, мельком глянув на квадратное лицо за стеклом. В голосе сквозит презрительная жалость. — Вряд ли она войдет.

Жозефина, будто услышав, чуть покраснела и нагнула голову, зарывшись подбородком в воротник. Она как-то странно прижимала руку к животу, будто оборонялась. Уголки рта навечно опущены; губы шевелились, нашептывая то ли молитву, то ли проклятия.

Я стала обслуживать женщин — белая коробочка, золотая ленточка, два бумажных рожка, розочка, розовый бантик с сердечком, — а они ахали и смеялись. Жозефина Мускат у витрины что-то бормотала, раскачиваясь и прижимая к животу неуклюжие кулаки. Когда я занялась последней покупательницей, Жозефина вызывающе вскинула голову и вошла. Последний заказ оказался большим и сложным. Мадам желала *вот только* это, да еще то, то, то и то, да в круглой коробочке, да с ленточками и цветочками, и с золотыми сердечками, и с визитной карточкой, только без надписи — тут остальные дамы в восторге шаловливо закатили глазки — хи-хи-хи-хи! — так что я едва не проглядела самое интересное. Крупные руки Жозефины удивительно проворны — огрубелые, красные руки, закаленные работой по дому. Одна прижата к животу, вторая молниеносно взлетает, словно оружие в руке опытного стрелка, и серебряный пакетик с розочкой — стоимостью в 10 франков — перемещается с полки в карман ее плаща.

Отличная работа.

Я не подаю виду, что заметила кражу, пока дамы со свертками не покинули магазин. Жозефина, теперь одна перед прилавком, с притворным интере-

Джоанн Харрис

сом рассматривает товар. Осторожно крутит в нервных пальцах одну коробочку, вторую. Я закрываю глаза. Мысли ее путаные, тревожные. В моем воображении мелькает стремительная череда образов: дым, горсть блестящих безделушек, окровавленный палец. За всем этим кроется трепетный страх.

— Мадам Мускат, помочь вам что-нибудь выбрать? — Голос у меня спокойный, любезный. — Или просто посмотреть зашли?

Она бормочет что-то нечленораздельное, поворачивается к дверям.

— По-моему, у меня есть то, что вам понравится.

Я достаю из-под прилавка серебряный пакетик — такой же, какой она украдала, только больше, — перетянутый белой лентой с желтыми цветочками. Она глядит испуганно, уголки большого не улыбочивого рта опускаются еще ниже. Я придвигаю к ней пакетик.

— За счет магазина, Жозефина, — ласково говорю я. — Берите, не бойтесь. Это ваши любимые.

Жозефина Мускат поворачивается и выбегает из магазина.

15 февраля, суббота

Я знаю, mon père, что пришел не в свой обычный день. Но мне нужно высказаться. Вчера открылась пекарня. Только это не пекарня. Когда я проснулся вчера в шесть, обертку с фасада уже сняли, навес и ставни на месте, над витриной поднят козырек. Некогда обычный невзрачный старый дом, как все дома вокруг, теперь сиял, словно конфетка в красно-золотистом фантике на ослепительно белом столе. На окнах горшки с красной геранью. Поручни оплетены гирляндами из гофрированной бумаги. А над входом дубовая вывеска с черной надписью:

ШОКОЛАДНАЯ
«НЕБЕСНЫЙ МИНДАЛЬ»

Бред, да и только. У подобного заведения, наверное, отбоя бы не было от покупателей в Марселе, в Бордо или даже в Ажене, где с каждым годом все больше туристов. Но в Ланскне-су-Танн? Да еще в первые дни Великого поста, традиционной поры воздержания? Святотатство, быть может преднамеренное.

Утром я рассмотрел витрину. На белой мраморной полке ряды бесчисленных коробочек, пакети-

ков, серебряных и золотых бумажных рожков, розеток, бубенчиков, цветочков, сердечек, длинных завитков разноцветных лент. В стеклянных колокольчиках и на блюдах — шоколад, жареный миндаль в сахаре, «соски Венеры», трюфели, mendiants, засахаренные фрукты, гроздья лесного ореха, шоколадные ракушки, засахаренные лепестки роз и фиалки... Прячась от солнца за половинчатые жалюзи, они мерцают всеми оттенками темного, будто сокровища в морской пучине, драгоценности в пещере Аладдина. А в самом центре она возвела пышное сооружение — пряничный домик. Сдобные стены облицованы шоколадом, увиты необычными глазированными и шоколадными лозами, лепнина из серебряной и золотой глазури, крыша из вафельной черепицы усеяна засахаренными плодами, в шоколадных деревьях поют марципановые птицы... Там же ведьма собственной персоной — вся из черного шоколада от верхушки колпака до подола длинной накидки — верхом на помеле, которым служит ей гигантский guimauve, длинный корявый стебель алтея, наподобие тех, что свисают с уличных лотков на карнавале...

Из окна я вижу ее витрину — глаз, полуприкрытый в лукавом заговорщицком прищуре. Из-за этого магазина, торгующего соблазнами, Каролина Клермон нарушила Великий пост. Сама призналась мне вчера на исповеди. Слушая ее захлебывающийся писклявый голосок, я не верил, что она готова искренне раскаяться.

— О, mon père, мне так стыдно! Но что я могла поделать? Эта очаровательная женщина так любезна. Я хочу сказать, я даже не понимала, что творю, спо-

хватила, когда уже было поздно. А ведь если кто и должен отказаться от шоколада... Мои бедра за последние два года растолстели до безобразия, хоть ложись и помирай...

— Две молитвы Деве.

Господи, что за женщина! Ее глаза полнятся обожанием и буквально пожирают меня через решетку.

— Конечно, mon règne, — разочарованно тянет она, якобы опечаленная моим резким тоном.

— И помните, почему мы соблюдаем Великий пост. Не для того, чтобы потешить собственное тщеславие или произвести впечатление на друзей. И не ради того, чтобы летом влезть в дорогие модные одежды.

Я намеренно жесток. Она этого хочет.

— Да, вы правы, я тщеславна. — Она всхлипывает, уголком батистового платка промокает слезинку. — Тщеславная, глупая женщина.

— Помните Господа нашего. Его жертву. Его смирение.

В нос бьет запах ее духов, какой-то цветочный аромат, в темном закутке тесно, запах слишком насыщенный. Может, она пытается ввести меня в искушение? Если так, зря старается: меня не проймешь.

— Четыре молитвы Деве.

Во мне говорит отчаяние. Оно подтачивает душу, разъедает клеточка за клеточкой, как летучая пыль и песок разрушают храм, годами оседая на его камнях. Оно подрывает во мне решимость, отравляет радость, убивает веру. Я хотел бы вести их через испытания, через тернии земного пути. Но с кем я имею

Джоанн Харрис

дело? День за днем передо мной проходит вялая процессия лжецов, мошенников, чревоугодников, презренных людишек, погрязших в самообмане. Вся борьба добра со злом сведена к толстухе, изводящей себя жалкими сомнениями перед шоколадной лавкой: «Можно? Или нельзя?» Дьявол труслив: он не открывает лица. Не имеет сущности, распылен на миллионы частичек, что коварными червоточинами проникают в кровь и душу. Мы с тобой, *mon règne*, родились слишком поздно. Меня тянет к суровой добродетельной поре Ветхого Завета. Тогда все было просто и ясно. Сатана во плоти ходил среди нас. Мы принимали трудные решения, жертвовали детьми нашими во имя Господа. Мы любили Бога, но еще больше боялись Его.

Не думай, будто я виню Вианн Роше. На самом деле ей вообще нет места в моих мыслях. Она — лишь одно из проявлений зла, с которыми я должен бороться изо дня в день. Но как подумаю о лавке с нарядным навесом, насмешка над воздержанием, над верой... Встречая прихожан у церкви, я краем глаза ловлю движение за витриной. «Попробуй меня. Отведай. Вкуси». В минуты затишья между псалмами я слышу, как гудит фургон, остановившись перед шоколадной. Читая проповедь — проповедь, *mon règne!* — я замолкаю на полуслове, потому что слышу шуршание фантиков...

Утром моя проповедь была суровее обычного, хотя народу пришло мало. Ничего, завтра они поплачутся. Завтра, в воскресенье, когда все магазины закрыты.

6

15 февраля, суббота

Уроки сегодня закончились рано. К полудню улице заполнили ковбои и индейцы в ярких куртках и джинсах — маленькие прячут учебники в ранцы или портфели, большие прячут в ладонях сигареты. Проходя мимо лавки, те и другие вроде как равнодушно косятся над поднятыми воротниками на витрину. Я замечаю мальчика в сером пальто и берете — подтянут, собран; школьный ранец идеально ровно сидит на детских плечиках. Мальчик идет один. У «Небесного миндаля» замедляет шаг, разглядывая витрину, но свет от стекла отражается, и я не вижу лица. Рядом останавливаются четверо ребятешек, ровесников Анук, и мальчик спешит удалиться. К витрине прижимаются два носа, потом все четверо пятятся и начинают выворачивать карманы, подсчитывая ресурсы. С минуту решают, кого послать в магазин. Я делаю вид, что занята за прилавком.

— Мадам?

На меня подозрительно таращится чумазое личико. Я узнаю Волка с карнавального шествия.

— Сразу видно, что ты любитель карамели с арахисом, — говорю я серьезно, ибо покупка конфет — серьезное дело. — Хороший выбор. Легко поделить — в карманах не тает, и стоит вот такой большой набор, — я показываю руками, — всего-то пять франков. Верно?

Вместо улыбки мальчик кивает, как деловой человек деловому человеку. Его монетка теплая и чуть липкая. Он осторожно берет с прилавка пакетики и заявляет важно:

— Мне нравится пряничный домик. Тот, что в витрине.

Его друзья робко кивают от дверей, где стоят, прижимаясь друг к другу для храбрости.

— Круто.

Жаргонное словечко он произносит смачно, с вызовом, словно тайком закуривает.

— Очень круто, — улыбаюсь я. — Если хочешь, приходи сюда с друзьями, когда я уберу дом с витрины. Поможете мне его съесть.

Он таращит глаза.

— Круто!

— Супер!

— А когда?

Я пожимаю плечами.

— Я скажу Анук, она вам передаст. Анук — моя дочь.

— Мы знаем. Мы ее видели. Она не ходит в школу. Последняя фраза произнесена с завистью.

— В понедельник пойдет. Жалко, что у нее тут пока нет друзей, — я ей разрешила их пригласить. Помочь мне украсить витрину.

Шаркают подошвы, липкие ладошки тянутся вверх, ребята пихаются и толкаются.

— Мы можем...

— Я могу...

— Я — Жанно...

— Клодин...

— Люси...

На прощание я подарила каждому по сахарной мышке и смотрела, как они рассеялись по площади, словно пушинки одуванчика на ветру. Одна за другой их куртки полыхнули на солнце — красный, оранжевый, зеленый, голубой, — и вот они скрылись из виду. Я заметила в тени арки на площади Святого Иеронима священника Франсиса Рейно. Он наблюдал за детьми с любопытством и, по-моему, с осуждением во взоре. Вот ведь странно. Чем он недоволен? Он не заходил в лавку с тех пор, как засвидетельствовал свое почтение в наш первый день в городе, но я много о нем слышала. Гийом говорил о нем почтительно, Нарсисс — раздраженно, Каролина — кокетливо, с озорным лукавством, к которому, я подозреваю, она обычно прибегает, ведя речь о любом мужчине не старше пятидесяти. Они отзываются о нем без теплоты. Насколько я понимаю, он не местный, выпускник парижской семинарии. Весь его жизненный опыт — из книг, он не знает этого края, его нужд, его потребностей. Это мнение Нарсисса — он враждует со священником с тех самых пор, как

отказался посещать службы во время уборочной страды. Он не выносит человеческой глупости, говорит Гийом, — глаза насмешливо блестят за круглыми стеклами очков, — то есть фактически весь род людской, ибо у каждого из нас есть глупые привычки и страсти, от которых мы не в силах отказаться. Рассуждая, Гийом с любовью треплет Чарли по голове, и пес, будто соглашаясь, важно вторит ему коротким отрывистым лаем.

— Он считает, глупо так привязываться к собаке, — с грустью жалуется Гийом. — Как человек тактичный, вслух он этого не говорит, но думает, что я веду себя неподобающе. В моем возрасте...

Гийом, пока не вышел на пенсию, был директором местной школы, где теперь остались всего два учителя, поскольку учеников все меньше, однако многие жители постарше до сих пор называли его *maître d'école*. Глядя, как он ласково чешет Чарли за ушами, я чувствовала, что его гложет печаль, — я заметила ее еще на карнавале; затаенная скорбь, почти вина.

— Человек в любом возрасте вправе выбирать друзей по своему усмотрению, — с жаром перебиваю я. — Возможно, *monsieur le curé* не мешало бы и самому поучиться у Чарли.

Опять та же добрая грустная полуулыбка.

— *Monsieur le curé* старается как может, — мягко говорит Гийом. — Не надо требовать от него большего.

Я промолчала. Щедрые люди щедры во всем. В моем ремесле быстро постигаешь эту нехитрую исти-

ну. Гийом покинул «Небесный миндаль», унося в кармане пакетик вафель в шоколаде. На углу улицы Вольных Граждан он наклонился и угостил вафлей Чарли. Погладил пса; тот гавкнул, вильнул куцым хвостом. Говорю же: некоторые люди щедры, не задумываясь.

Городок уже не кажется мне чужим. Его обитатели тоже. Я начинаю узнавать лица, имена; наматывается клубок первых историй, они сплетаются в пуповину, что однажды свяжет нас. Ланскне сложен, чего поначалу не скажешь по его незатейливой географии: от главной улицы, словно пальцы на руке, расходятся боковые ответвления — проспект Поэтов, улица Вольных Граждан, переулок Революционного Братства; очевидно, кто-то из устроителей города был ярым приверженцем Республики. И все эти пальцы тянутся к площади Святого Иеронима, где поселилась я. Тут среди лип гордо возвышается белая церковь, погожими вечерами старики играют в шары прямо на красных булыжниках. За площадью в низине лежит район с собирательным названием Марод* — переплетение узких улочек, скопление глухих покосившихся деревянно-кирпичных домишек, что пятятся к Танну по неровной мостовой. Трущобы Ланскне. Они подступают к самому болоту. Некоторые дома стоят прямо на реке, на гниющих деревянных платформах. Десятки других теснятся вдоль каменной набережной; длинные щупальца сырого

* От les marauds (*фр.*) — презренные.

смрада тянутся от стоячей воды к окошкам под самыми крышами. В городах вроде Ажена такой вот причудливый, по-деревенски неказистый, разлагающийся Марод стал бы местом паломничества туристов. Но в Ланскне туристов нет. Обитатели Марода — мусорщики, они живут на то, что удастся выудить из реки. Здесь почти все дома заброшены, из просевших стен прорастают старые деревья.

Вобедя на два часа закрыла «Небесный миндаль», и мы с Анук отправились к реке. У самой воды барахтались в зеленой грязи двое тощих ребятишек. Здесь даже в феврале стоит сочная сладковатая вонь гнили и нечистот. День выдался холодный, но солнечный. Анук, в красном шерстяном плаще и шапке, носилась по камням, громко беседуя с Пантуфлем, скачущим за ней по пятам. Я уже настолько привыкла к Пантуфлю — как, впрочем, и к другим сказочным бродяжкам, следующим за Анук незримыми тенями, — что порой мне кажется, я почти вижу его — странное существо с серыми усами и мудрыми глазами, и дивная метаморфоза неожиданно расцветивает мир, и я превращаюсь в Анук — смотрю ее глазами, хожу там, где ходит она. В такие минуты я чувствую, что могу умереть от любви к ней, моей маленькой скиталице. Мое сердце разбухает, едва не лопается, и я, чтоб и впрямь не умереть от избытка чувств, тоже бегу со всех ног, и мой красный плащ развеивается за плечами, будто крылья, волосы струятся за спиной, как хвост кометы в клочковатом синем небе.

Дорогу мне перебежал черный кот. Я остановилась и затанцевала вокруг него против часовой стрелки, напевая:

Où-ti-i, mistigri?
Passe sans faire de mal ici*.

Анук подпевала мне, кот с урчанием повалился в пыль и перевернулся на спину, требуя, чтобы его погладили. Я наклонилась к нему и заметила щуплую старушку — она с любопытством наблюдала за мной из-за угла. Черная юбка, черный плащ, заплетенные в косу седые волосы уложены на голове в аккуратный сложный узел, глаза внимательные и черные, как у птицы. Я кивнула ей.

— Ты — хозяйка chocolaterie, — сказала она.

Несмотря на возраст — лет семьдесят, должно быть, если не больше, — у нее звучный, резкий и оживленный голос южанки.

— Да, верно.

Я назвала себя.

— Арманда Вуазен, — представилась старушка. — А вон мой дом. — Она кивком показала на один из домиков у реки — опрятнее остальных, со свежей побелкой и алой геранью в ящиках за окнами. Потом улыбнулась, отчего ее розовое кукольное личико собралось в миллионы морщинок. — Я видела твой магазин. Симпатичный. Это ты молодец, постаралась. Только он не про нас. Чересчур броский. — В ее тоне не было неодобрения — только ироничная обречен-

* Киска, киска, ты куда? Проходи, не делай зла (*фр.*).